

Владимир

# КУНИН

СВОЛОЧИ



- [Владимир Кунин](#)
    - [Серафима](#)
    - [Латшими](#)
    - [Сегодня в цирке выходной](#)
    - [Настоящие мужчины](#)
    - [Женька Каблуков — человек странный...](#)
    - [Рассказ про Женьку Каблукова](#)
-

**Владимир Кунин**

**Цирк, цирк, цирк (рассказы)**

## Серафима

Верблюда зовут Петя. У него спесивый вид, как у индийского раджи, старческая, презрительно отвисшая нижняя губа и усталые глаза с длинными и прямыми ресницами. Местами верблюд уже вытерся и напоминает вельветовые брюки.

Верблюд помещен в конце закулисного коридора. Он лежит на подстилке из свалявшейся соломы, равнодушный ко всему происходящему вокруг.

Иногда он встает, но как-то по складам. Процесс вставания занимает у него много времени, и поэтому он делает это редко и неохотно. Зато часто и с удовольствием вздыхает. За день он устает демонстрировать свою верблюжью гордость и презрение к окружающим, а посему вечером позволяет себе — правда, ненадолго — сбросить ледяную невозмутимость и царственную осанку. Он вытягивает шею, кладет голову на пол и с нескрываемым любопытством поглядывает снизу вверх на проходящих мимо актеров, берейторов и униформистов. Иногда в минуты особого благодушия он может помахать хвостом, уподобившись легкомысленному псу, желающему обратить на себя внимание. Нужно признаться, что в отличие от пса-забудыги Петя не старается привлечь чье-либо внимание. Он делает это только для себя, в порядке вознаграждения за неприступный вид и чопорность, сохраняемые с самого утра. Трех-четыре взмахов совершенно достаточно, чтобы Петя осознал вздорность своего поведения и вновь обрел гордый и равнодушный вид.

От стыда за минутную слабость Петя мучается всю ночь. Он кряхтит, встает, трется о стену плешивыми, вельветовыми боками, что-то жует, горестно скорбя о падении престижа и утерянной репутации, и только под утро затихает, дав себе слово больше никогда так не распускаться.

Напротив Пети, в отгороженном и разделенном на два отсека стойле, живут осел и свинья, принадлежащие коверному клоуну. За ними ухаживает вечно не выспавшийся и небритый усталый человек — ассистент клоуна. Он появляется каждое утро с метлой, ведром и мешком свежих опилок, от которых чудесно пахнет сосновым лесом.

Свинья тотчас приподнимается на передние ноги и, задрав голову, смотрит на человека, помаргивая маленькими сонными глазками. Осел тоже приходит в движение. Он начинает скрести пол тонким, изящным копытцем, вытягивает шею, поднимает верхнюю губу, обнажая ряд крепких зубов, прижимает к спине уши и шумно втягивает в себя воздух. «Сейчас заорет», — думает Петя и отворачивается к стене. Он не любит осла.

И действительно, осел начинает кричать. Кричит он недолго, потому что каждый раз ассистент клоуна, не дожидаясь полного «крещендо», хлопает его метлой по худенькому заду и говорит: «Заткнись же, черт бы тебя побрал!..» И осел затыкается.

К свинье Петя тоже относится плохо. То есть не плохо, а просто никак. Сначала бестолковая суетливость свиньи его раздражала, потом он привык и перестал обращать на нее внимание. Кажется, свинья это поняла и тоже всем своим видом старалась показать, что Петя для нее не существует. Да и верно. Петя был слишком велик для свиньи, она его не понимала, потихоньку презирая в душе за худобу.

Осел же относился к Пете с уважением и жалостью. Ему нравилось в Пете чувство собственного достоинства, а жалость была вызвана раздвоенностью Петиних копыт. Несколько раз он пытался установить с Петей приятельские отношения. Это случалось тогда, когда ассистент клоуна решал произвести полную смену опилок в стойле. Он выводил осла и ставил его рядом с Петей. Осел тянулся к нему, играл ушами и однажды из вежливости съел клочок Петиного сена, хотя у себя в стойле к сену никогда не притрагивался.

Петя не оценил трогательно раскрывшуюся перед ним душу осла. Осел не обиделся, но стал значительно сдержаннее.

Примерно через полчаса после появления ассистента клоуна прибежала растрепанная девчонка. Девчонку звали Серафима. В цирке она работала уже пятый месяц и страшно гордилась тем, что попала в номер к заслуженному артисту. Во время представлений Серафима бегала в боковые проходы смотреть работу актеров в манеже и мечтала о том, что и она когда-нибудь выйдет на арену, окруженная очень хищными и послушными только ей зверями.

Пока же она довольствовалась скромной ролью служащей по уходу за животными и, выполняя указания заслуженного артиста, опекала трех лисиц, кошку, двух зайцев и Петю.

С лисицами, зайцами и кошкой Серафима подружилась довольно быстро и называла их «ребята», а Петю побаивалась и громко кричала на него басом.

Наскоро покормив Петю, Серафима мчалась к «ребятам» и возилась с ними до начала утренней репетиции. Она мыла и чистила клетки, варила корм по рецептам старшего дрессировщика и под его наблюдением выводила «ребят» в манеж.

Уже целую неделю Петя не репетировал и не работал. Его партнер по номеру, глупый и прожорливый страус эму, случайно проглотил мундштук заслуженного артиста и теперь болел. Страуса лечили, а Петя находился, так сказать, в вынужденном простое. Серафима понимала, что Петя не виноват во всей этой истории, но все же не удержалась и сказала ему:

— А знаешь ли ты, верблюжатица, что кто не работает, тот не ест?

Петя не знал этого и промолчал. Тогда Серафима плюнула, принесла ему воды и ушла.

Старшего дрессировщика звали Михаил Михайлович. Небольшого роста, худощавый, одетый в обыкновенный комбинезон с ляжками, Михаил Михайлович был похож на мастера цеха, на такого заводского ветерана, который говорит директору «ты» и поучает молодых, неопытных инженеров.

Но это только внешне. На самом деле Михаил Михайлович никогда никого не поучал. Он просто и очень толково объяснял, что и как нужно сделать.

Михаил Михайлович говорил всем «вы» и, к неопишуемому восторгу Серафимы, называл ее Серафимой Петровной.

Заслуженный артист, услышав ее отчество, тут же прозвал верблюда Петром Серафимовичем. Все засмеялись, Серафима обиделась, но ненадолго. В течение нескольких дней все называли Петю по имени и отчеству, потом эту шутку забыли, но Серафима почему-то стала значительно теплее относиться к верблюду. Она перестала поизвозчичьи кричать на него и однажды, меняя Пете подстилку, запела тоненьким голоском:

Куда бежишь, тропинка милая,  
Куда зовешь... куда ведешь?..

Это было настолько неожиданно, что Петя перестал жевать и повернул голову, удивленно глядя на Серафиму.

— Ну чего ты, глупенький? — сказала Серафима, смутившись.

Петя потянулся к ней, блаженно прикрыл глаза и... (Серафима могла бы в этом поклясться!) улыбнулся. По всей вероятности, так оно и было, потому что ни осла, ни свиньи рядом не было и Петя мог не стесняться нахлынувших на него чувств.

Как-то после утренней репетиции Михаил Михайлович сказал:

— А знаете что, Серафима Петровна, не грех бы вам почитать, что о наших питомцах умные люди пишут.

— Господи, — сказала Серафима, — да я про них и сама-то все знаю, хоть сейчас садись да пиши. Они, Михаил Михайлыч, мне вроде как родственники стали, даже еще ближе. У меня, к примеру, тут неподалеку тетка живет — нашего бати сестра, да одних двоюродных душ пять будет. Дак я об них и не думаю вовсе, а все об зайцах, да лисицах, да об Пете об этом!

— Ну вот и хорошо, — сказал Михаил Михайлович. — То есть не очень хорошо, душ-то двоюродных забывать не следовало, а книгу эту проглядите на досуге.

«Это где же я досуг-то возьму?» — подумала Серафима, но книгу обернула в афишу заслуженного артиста и унесла к себе.

Старый однотомник Брема Серафима прочла за два дня. Книга ей понравилась, и всю последующую неделю Серафима пыталась создать «естественные условия» для своих подопечных.

С грехом пополам ей удалось приблизить зайцев и лисиц к условиям Брема, правда, не выпуская из клеток. Кошку она просто брала домой, поила молоком из блюдца и играла с ней. В такие минуты кошка забывала о своем цирковом образовании, вся важность с нее слетала, и она самозабвенно прыгала за бумажкой, привязанной к нитке. Наверное, ее очень устраивали эти «естественные условия», потому что, когда кошка по приказанию Михаила Михайловича была водворена в клетку, она так жалобно мяукала, что у Серафимы разрывалось сердце.

Михаил Михайлович не испугался бурной деятельности, вызванной однотомником Брема, и принес Серафиме еще несколько книг о животных. Среди них была и книга заслуженного артиста, где он писал о том, как работает в цирке, как дрессирует зверей и как труды академика Павлова помогли ему стать хорошим дрессировщиком.

Этого Серафима совсем не поняла, так как считала, что стать хорошим дрессировщиком заслуженному артисту помогли труды не

Павлова, а Михаила Михайловича. Тем более что совсем недавно заслуженный артист на собрании говорил, что он работает с Михаилом Михайловичем уже тридцать лет, что Михаил очень хороший и много сделал для всего советского цирка.

А Михаил Михайлович сказал «спасибо» и удивился, что до сих пор не привезли сгущенного молока для медвежат.

Книжка заслуженного артиста была полна непонятных выражений. Тут были и «вкусовые ощущения», и «гуманизм дрессуры», и «условные рефлексy», и даже какие-то «кортикальные изменения». А про Михаила Михайловича не было ничего.

Серафима очень хотела узнать, кто такой Павлов и в каком цирке он работает. У Михаила Михайловича спросить она постеснялась, боясь его этим обидеть.

— Здравствуй, Сима-Серафима! — как-то на репетиции сказал ей заслуженный артист. — Это что же за книжка торчит у тебя из кармана?

Серафима вытерла руки подолом халата и показала книгу.

— Ух ты! — сказал заслуженный артист. — Никак меня прорабатываешь?

— Ну что вы! Я вас не прорабатываю. Я как бы учусь. Мне Михаил Михайлович велели книжки про зверей читать...

— Скажите, пожалуйста, какие вы у меня с Михаилом Михайловичем! — удивился заслуженный артист.

— Я уже этого... ну, Брема, прошла, — обрадовалась Серафима. — Теперь по вас занимаюсь. Только я...

Она слегка замялась.

— Ну, что «только»?

— Только я тут маленько не все разбираю.

— Ах, Сима, Сима, — вздохнул заслуженный артист. — Не все понимаешь, говоришь? Что же ты думаешь, что я все понимал сначала? Нет, братец! В наше время никаких книжек не было. Своими руками все делали, своей головой до всего доходили. Это уж вам повезло!

— А Павлов?

— Что — Павлов? Какой Павлов?..

— Как какой? — удивилась Серафима. — Ну тот, у которого, как их... рефлексy?

— Рефлексy? Ах, Павлов... — усмехнулся заслуженный артист. — Вот мой «Павлов»! — Он резко щелкнул шамберьером. — На кончике

этой штуки вся физиология уместается! Тут тебе и условные рефлексy, и вкусовые ощущения.

— Миша! Михаил Михайлович! Давай верблюда в манеж.

Стараясь не смотреть на Серафиму, Михаил Михайлович сказал:

— Пойдемте, Серафима Петровна, пора Пете начинать репетировать.

В полутемном закулисном коридоре Серафима испуганно зашептала:

— Чего же они врут-то, Михаил Михалыч, какой же это Павлов, это же кнут просто!..

— Кнут, Симочка, — кивнул Михаил Михайлович, — просто кнут. А про Павлова я тебе потом сам расскажу... Про великого русского ученого Павлова. Поднимай Петю, доченька...

— Вставай, Петечка, — сказала Серафима вдруг ослабшим голосом.

Верблюд поднялся и, пошевелив губами, ласково потянулся к Серафиме.

— Ладно, ладно, идем уж, — отмахнулась Серафима и направилась в сумрак закулисного коридора.

Высоко поднимая колени, верблюд гордо зашагал ей вслед,

В манеже стояла неразбериха. Медвежонок перескочил через барьер и умчался в прохладные полутемные фойе цирка. За ним суматошно гонялись несколько человек, а заслуженный артист стоял посредине манежа и кричал, что так дальше продолжаться не может, что или он, или все эти бездарные люди, которые мало того что сами ничего делать не умеют, но еще вставляют палки в колеса ему, заслуженному артисту!

— Ну, что еще здесь случилось? — спросил Михаил Михайлович униформиста, сидевшего на барьере.

— Что случилось? Ничего не случилось, обыкновенная история. Ваш-то не дождался, покуда вы придете, ну и давай сам медвежонок репетировать. Ну ясно, медведь на трюк не идет, а ваш давай его лупить... Вот, пожалуйста, теперь по всем этажам и ловят...

— Помогли бы лучше медвежонок ловить,.. — окрысилась на него Серафима.

— А чего его ловить-то, вон ведут уже страдальца вашего. — Униформист сплюнул, перелез через барьер и направился за кулисы.

К этому времени заслуженный артист перестал кричать и нервно щелкал зажигалкой, стоя посередине манежа. Прикурив, он поднял голову и увидел Михаила Михайловича, Серафиму и Петю.

— Ну что вы стоите, черт бы вас побрал, с этой дохлятиной?! Живо дайте его сюда!

Серафима охнула и потащила Петю вперед, но Михаил Михайлович остановил ее и, подойдя к заслуженному артисту, тихо, но отчетливо произнес:

— Ни ваше звание, ни ваши заслуги не дают права разговаривать с людьми подобным образом. Будьте любезны, возьмите себя в руки.

Заслуженный артист задохнулся от злости, и крик прорвался уже с утроенной силой:

— Да как вы смее! Вы у меня работаете или...

— Я не у вас работаю, а в советском цирке! — перебил его Михаил Михайлович. — Извольте выбирать выражения.

— Ах вот как! — закричал заслуженный артист. — В таком случае извольте работать сами! Снимайте номер с программы! Я сегодня в манеж не выхожу! Я болен. Понимаете, бо-лен!

Он схватил шляпу и трость, лежавшие на барьере, и выбежал в боковой проход.

— Ну вот это уже совсем глупо, — тихо произнес Михаил Михайлович. Потом он огляделся вокруг и, встретившись глазами с бледной, испуганной Серафимой, улыбнулся и сказал:

— Ну, что вы стоите, товарищи, давайте репетировать!

Но репетировать не пришлось. Прибежали директор цирка, инспектор манежа, главный режиссер. Они долго и тихо разговаривали с Михаилом Михайловичем, а потом все вместе пошли наверх в кабинет директора.

А через полчаса на общем собрании всех работников цирка было решено, что выступление должно состояться. Заслуженного артиста беспокоить не стоит, вечером в манеж выйдет Михаил Михайлович, а завтра-послезавтра руководство даст указания на дальнейшее.

До начала представления Серафима не могла найти себе места.

Она то мчалась к верблюду и начинала лихорадочно расчесывать его свалявшуюся шерсть, то бесцельно стояла у клеток с «ребятами», сосредоточенно глядя на металлическую сетку, отгораживавшую лисиц от зайцев. Всмотривалась долго, до ряби в глазах, ни о чем не думая,

ничего не понимая. И вдруг, очнувшись, вздрагивала, как от удара. Медвежонок, собрание, крик, Михаил Михайлович — все громоздилось одно на другое, и события прошедшего дня заставляли биться ее сердце мелко и часто, как во время болезни. Обедать она не пошла и с ужасом ждала начала представления.

Ассистент клоуна уже шел одевать свинью и на ходу молча сунул Серафиме в руку капустную кочерыжку. Скоро первый звонок...

Совершенно растерянная, она начала жевать кочерыжку. Сочный хруст привел ее в себя. Она отшвырнула кочерыжку и с отвращением подумала о себе: «Господи, как же это я лопаю капусту в такое время...»

Раздался первый звонок.

И Серафима вдруг очень ясно представила себе, что сегодня ей придется делать все то, что в обычные дни делал Михаил Михайлович. И так же хорошо, четко и быстро.

Она помчалась к инспектору манежа и на большом чистом листе бумаги написала названия всех реприз и порядок вывода зверей на арену. Лист она повесила у занавеса в артистическом проходе и побежала готовить животных к работе.

Она одевала собак, сортировала рыбу для морских львов, застегивала намордники на медведях и усаживала лисиц и зайцев в маленькие переносные клетки.

Серафима не заметила, как началось и кончилось первое отделение. Она не слышала, как директор цирка сказал Михаилу Михайловичу:

— А знаете, ваш руководитель номера действительно заболел... Жестокий сердечный приступ. Я только что из гостиницы. У него врач...

— Очень жаль. — сказал Михаил Михайлович. — Успокойте его, пожалуйста. Все будет в порядке.

Он повернулся и увидел Серафиму, запрягавшую гуся в игрушечный фаэтон, в котором сидела Мика, маленькая обезьянка.

— Сейчас начинаем, Серафима Петровна. Все как всегда. — Михаил Михайлович сказал это так же спокойно, как говорил каждый вечер, но Серафима вдруг разволновалась. У нее затряслись руки, и сердце опять забилося мелко и часто...

Первые звуки выходного марша почему-то успокоили ее. «Все как всегда», — подумала она и взглянула на Михаила Михайловича.

Старший дрессировщик внимательно прочел повешенный Серафимой лист.

— Спасибо, доченька, — сказал он и вышел в ярко освещенный манеж. С этой секунды все страхи и волнения покинули Серафиму. «Все как всегда...» Быстро и уверенно она подавала животных в манеж, принимала их за кулисами после выполненного трюка, подтаскивала и уносила реквизит, переодевала лисиц и зайцев.

Серафиме смертельно хотелось хоть краешком глаза глянуть в манеж, но на это не было совершенно времени, и только приглушенные тяжелым бархатным занавесом смех и аплодисменты, доносившиеся с арены, говорили Серафиме, что ничего страшного не произошло, что все идет прекрасно, что «все как всегда»!

«Сейчас последняя реприза, — подумала Серафима. — Уже ведут слона».

— Сима, в сторонку! — крикнул кто-то.

Занавес приоткрылся, пропуская слона на арену, и Серафима на мгновение увидела смеющиеся лица зрителей, большой красный ковер, Михаила Михайловича и белую ленту барьера вокруг манежа. Обессиленная и счастливая, Серафима зарылась лицом в тяжелые складки занавеса и слушала нарастающий гул аплодисментов.

Она была счастлива. За зрителей, за Михаила Михайловича, за себя, за всех на свете!

Чья-то рука опустилась ей на плечо. Серафима вздрогнула и повернулась. Перед ней, тяжело опираясь на палку, стоял заслуженный артист в распахнутом пальто, без шляпы... Он смотрел поверх ее головы на закрытый занавес, откуда неслись аплодисменты. Он был очень бледен и прерывисто дышал, крепко держась за плечо Серафимы. Ей стало страшно жалко его. Захотелось успокоить его, сказать, что все в порядке, «все как всегда», но заслуженный артист приложил палец к губам и почти шепотом сказал:

— Тише, Симочка... Это вам аплодируют, Серафима Петровна... Слышите, вам...

Занавес распахнулся, прошел слон, волоча на хвосте коверного клоуна. А через несколько секунд с манежа за кулисы вышел Михаил Михайлович. Усталыми глазами он взглянул на заслуженного артиста и сказал:

— Добрый вечер. Напрасно вы встали, все в порядке...

— Миша... — сказал заслуженный артист. — Прости меня, Миша...

— Вам нужно прилечь. Идемте в гардеробную, я вам расскажу

одну занятную штуку. Только сейчас, в манеже, я понял, что медвежата охотнее идут на трюк, когда... Пойдемте, вы полежите, а я вам расскажу...

Михаил Михайлович взял под руку заслуженного артиста и, повернувшись к Серафиме, ласково сказал ей:

— Будьте любезны, Симочка, накормите животных.

— Да, пожалуйста... Серафима Петровна, накормите животных... — с трудом проговорил заслуженный артист и, улыбнувшись, добавил: — И проследите там, чтобы все было в порядке...

— Хорошо, — ответила Серафима, — все будет, как всегда...

А спустя часа полтора, когда уже все разошлись, когда казалось, что цирк опустел и уснул, из дальнего конца закулисного коридора, где обычно лежал верблюд, все еще слышалось тоненькое:

Куда бежишь, тропинка милая,

Куда торопишься, зовешь?..

## Латшими

Латшими — это слоненок. Маленький слоненок для больших слонов и очень большой слон для маленьких людей.

Латшими — упитанный слоненок, он весит 2654 килограмма, немного меньше трех тонн. Для взрослого слона это смешотворно мало.

Латшими не всегда знает, что можно и чего нельзя. Поэтому он часто попадает впросак. Большой слон, например, никогда не стал бы тереться о тонкую перегородку слоновника. А Латшими это делает. И каждый раз ломает перегородку. Трещат доски, и перегородка начинает падать. Латшими приходится упираться хоботом, чтобы тоже не упасть. Это очень трудно. И однажды Латшими свалился вместе с перегородкой. Он очень испугался, вскочил и затрубил на весь слоновник. И тогда прибежали люди, и начали кричать Латшими всякие нехорошие слова, и даже ударили. Было очень больно, и Латшими попятился и уж совсем нечаянно выломал заднюю стенку стойла. Люди рассердились еще больше и стали кричать, что они никогда не видели такого глупого слона и вообще неправда, что слоны умные: они глупые, они плохие, а Латшими самый плохой и самый глупый из всех слонов на свете! И вообще, как он попал в цирк?!

Очень обидно было слышать такое, тем более что один человек (которого среди этих людей не было) много раз говорил Латшими «умница» и называл его прекрасным слонишкой.

А этот человек знал, что говорил. Уж он-то в слонах понимал больше всех. Захочет Латшими морковку — этот человек сразу даст ему морковку, захочет сахар — получай сахар. А эти, которые сейчас кричат, они и не догадались бы никогда, что нужно Латшими...

Подумав об этом, Латшими почему-то успокоился и стал тянуться к людям своим длинным носом-хоботом. Тут все в один голос заявили, что на него, на Латшими, ничего не действует, что совести у него нет и что его нужно отправить в зоопарк при первой возможности.

Если говорить честно, люди боялись Латшими потому, что он не понимал их и делал все не так, как этого хотели люди. Но Латшими не знал этого и сам боялся людей.

Правда, иногда он думал, что он хоть и маленький, но все же

немного больше всех этих людей и при желании мог бы поддать им своим хоботом. Но это приходило ему в голову редко, и он сразу же вспоминал, как больно умеют люди зацеплять крючком за ухо или стучать по носу. И Латшими отгонял от себя эту мятежную мысль.

Если не считать этих маленьких скандальчиков, которые повторялись примерно каждую неделю, Латшими жилось недурно.

В слоновнике было тепло, и пол из свежих сосновых досок всегда посыпался желтыми опилками. Можно было набрать хоботом кучу опилок и обдать ими себя сверху. Латшими часто устраивал себе такой душ.

А сахар! Если бы люди знали, какая это вкусная штука! Нет, Латшими не считал, что все остальное невкусно. Теплые булки — это прекрасно, морковка — изумительно, яблоки — просто прелесть. Но сахар! Сахар был лучше всего. Даже когда Латшими хотел почесаться о перегородку или принять опилочный душ, ему все равно казалось, что в первую очередь он хочет сахара!

Человек, которого называли Серебряков, отлично знал все это. Говорил он совсем тихим голосом. И никогда не кричал на Латшими. У них были просто приятельские отношения. Они полностью доверяли друг другу, и обоим это очень устраивало.

Он вообще много знал, этот Серебряков.

Вот, например, Латшими совсем не подавал вида, что его страшно раздражает звяканье цепи, которой он был привязан за ногу. Ну может, раза два-три оглянулся на звук...

А Серебряков понял. Понял и обернул каждое звено трехметровой цепи в мягкие тряпочки. Цепь больше не звякала, и Латшими не нервничал.

Однажды Серебряков заболел и не приходил в цирк четыре дня. Кто-то приносил Латшими еду, кто-то убирал у него в стойле, кто-то уносил еду нетронутой... Латшими было плохо. Он часами неподвижно стоял, повернув голову в сторону, откуда обычно приходил Серебряков, и потихоньку скулил. Совсем как обиженный щенок.

А когда Серебряков выздоровел и пришел, Латшими так растерялся от радости, что не знал, как ему себя вести! Он обнял Серебрякова хоботом и начал нежно раскачивать его из стороны в сторону.

Серебряков всегда очень нужен был Латшими, и сам Латшими ни на секунду не сомневался в том, что он тоже необходим Серебрякову.

Когда Латшими слышал звук его шагов, он начинал переступать передними ногами и встряхивать головой, раскачивая хоботом. Серебряков подходил, и Латшими дул ему хоботом в лицо. «Ах ты, глупый», — говорил Серебряков и делал вид, что роется в карманах. Немного порывшись, он вынимал из карманов пустые руки, разводил их в стороны и говорил: «Нет, нету, мой мальчик...»

Но Латшими знал, что это шутка... Он обнимал Серебрякова хоботом, подтягивал осторожно к себе и сам залезал к нему в карман. И конечно, там был сахар! «Нет, ты умница», — говорил Серебряков и уходил куда-то в конец закулисного коридора. Латшими, насколько ему позволяла цепь, высовывался из стойла и смотрел вслед. Но коридор был круглый, и Латшими быстро терял Серебрякова из виду.

Правда, он знал, что не пройдет и трех минут, как Серебряков вернется. В руках у него будет большой железный совок и длинная палка с множеством голых веточек на конце. Жевать эти веточки нельзя, это Латшими знает. Однажды он попытался это сделать, и Серебряков рассердился. Латшими чувствовал себя страшно неловко и два следующих дня подлизывался к Серебрякову. Но был прощен только тогда, когда Серебряков, несколько раз оставив эту штуку в стойле, убедился, что Латшими не обращает на нее никакого внимания. Когда же Латшими узнал, что это называется «метла», и увидел, что ею делают, ему стало стыдно за свое легкомыслие. Это не значило, что Латшими повзрослел и стал серьезным слоном. Просто у него определилось четкое отношение к метле и к ряду вещей, с которыми таким образом его познакомил Серебряков.

Иногда Серебряков учил Латшими странным вещам: подавать ноги, поднимать его хоботом наверх, садиться, стоять на задних ногах и многое другое. За все это полагался сахар, и Латшими занимался с увлечением.

Но об этом никто не знал, и за кулисами поговаривали, что слоненка вот-вот отправят в зверинец. Серебряков куда-то ходил, кого-то упрасивал и, наконец, добился, что Латшими дали пробную репетицию — правда, с опаской, приняв меры против его возможного хулиганства.

Когда его впервые повели в манеж на репетицию, он был спокоен. Во-первых, рядом шел Серебряков, а во-вторых, случай с перегородкой был настолько свеж в памяти, что Латшими решил держаться как можно

скромнее.

Однако, выйдя на арену, он поразился громадному количеству опилок и, не удержавшись, захватил хоботом самую малость и посыпал себе на спину. Серебряков дал ему сахар и попросил больше не делать этого. Латшими понял.

Серебряков, подталкивая его тоненькой палочкой, сказал: «Ай, браво, маленький!» — и повел Латшими вокруг манежа. Так они походили немного, и Серебряков, остановив его посередине, попросил поднять ногу. Латшими с удовольствием поднял ногу и получил сахар.

Потом он показал людям, как нужно стоять на двух ногах и как садиться на тумбу. Каждый раз Серебряков кормил его сахаром и гладил по хоботу. И Латшими заметил, что те самые люди, которые так ругали его раньше, теперь улыбаются, смеются, хлопают в ладоши и называют его «Талант».

Латшими так привык, что его зовут Латшими, что, когда несколько раз услышал «талант», беспокойно стал поглядывать по сторонам. Ему казалось, что в манеж привели еще одного слоненка, которого зовут Талант. Но, кроме Латшими, на арене слонов не было, и он успокоился, решив, что в конце концов безразлично, как называют его все эти люди. Важно то, что скажет Серебряков. Скажет Талант — будет Талант.

Но Серебряков сказал: «Ну какой же он талант, он просто способный слонишка. Этому мы научились еще в стойле».

Когда они пришли в слоновник, Серебряков надел ему на ногу цепь, поцеловал в хобот и шепнул: «Ты молодец, малыш! Сегодня ты сам себя оставил в цирке... Тебя не отправят, сынок... Будешь артистом!»

Латшими не все понял, но обнял Серебрякова хоботом и немножко покачал из стороны в сторону, как это делал всегда, когда ему хотелось показать, что он очень хорошо относится к Серебрякову.

## Сегодня в цирке выходной

Сегодня пятница. В цирке выходной. Знаете, что такое выходной в цирке? Этот день совершенно не похож на всю неделю. Он, этот день, таит в себе массу удовольствий и приятных отклонений от строгого распорядка цирковых будней.

Во-первых, вы можете спать хоть до обеда: репетиции нет, и торопиться вам некуда. Встав с постели и уяснив себе, что сегодня в цирке выходной, вы можете пройтись до угла и выпить кружку пива. Здорово? На то он и выходной, чтобы чувствовать себя таким свободным и независимым!

Правда, у пивного ларька, на углу, висят часы, и, случайно взглянув на них, вы убеждаетесь, что сила привычки подняла вас так же рано, как и в обычный день, когда вы, наспех проглотив стакан чаю, мчитесь сломя голову на репетицию.

Не огорчайтесь, перед вами стоит пиво, следовательно, отклонения начались и выходной вступил в свои чудесные права!

Вы прихлебываете пиво и лениво думаете о том, что обедать сегодня вы сможете тогда, когда вам это вздумается: в три, в четыре, в пять... Нет нужды в том, чтобы к вечеру у вас был пустой желудок, и не надо с тревогой думать: не поздно ли вы пообедали после репетиции и хватит ли у вас дыхания до конца номера...

Сегодня вам на это наплевать! Вы можете даже вообще не обедать. Но уж если вы пообедали, так вовсе незачем ложиться отдыхать. Идите куда угодно — в кино, в музей, ловить рыбу... Просто гуляйте по городу. Идите на рынок, купите несколько десятков живых раков, сухого укропа, чесноку, петрушки, эстрагону (есть такая пахучая травка!), пачку соли и дома в самой большой кастрюле собственноручно варите все, что вы притащили с базара. Варите до того момента, пока вся квартира не пропахнет рыночными специями, а раки не станут темно-красными. Тогда берите бидон и мчитесь на угол за пивом.

— Что, не хватило? — заговорщически подмигивает вам человек, продающий пиво.

Он узнал вас, и ему хочется поговорить.

— Раки... — небрежно бросаете вы.

— Готовых брали? — осведомляется человек, лениво берясь за ручку насоса.

— Живых, — спокойно говорите вы.

— Эстрагон клали? — тоном специалиста спрашивает человек, ускоряя движение ручки насоса.

На этот вопрос вы можете не отвечать. Просто усмехнитесь и скажите, разглядывая свои пальцы:

— Чеснок шинковал, чуть весь не перерезался...

Человек сражен. О необходимости чеснока он и не подозревал.

Рука, качающая насос, из глубочайшего уважения к вам начинает двигаться с невероятной скоростью.

Наконец пиво налито, и уничтоженный знаток робко протягивает вам бидон. Платите и великодушно улыбайтесь. Сегодня выходной, и вы прощаете ему обилие пены и недостаток знаний.

С самого утра вы стараетесь не думать о цирке. Не потому, что вы не любите его, и не потому, что он вам надоел за прошедшую неделю. Нет, просто вы активно отдыхаете. Значит, о цирке вы не думаете! Однако еще в тот момент, когда вы расплачиваетесь за утреннюю кружку, вас начинает мучить мысль, что вчера после представления вы забыли запереть свою гардеробную или не зачехлили реквизит, стоящий за кулисами. В голову вам приходит еще пятнадцать причин, по которым вам просто необходимо хоть на секунду забежать в цирк.

И вот тут происходит самое страшное... Начинается неравный бой!

Вы робко пытаетесь убедить себя в том, что гардеробная закрыта, что реквизит тщательно укрыт брезентовыми чехлами и что все остальные причины, по которым вам необходимо быть в цирке, выведенного яйца не стоят. Но не тут-то было!..

Причины размножаются, как бактерии, невероятно быстро. А так как, несмотря на несколько лет работы в цирке, иммунитет у вас не выработан, вы оказываетесь в проходной цирка намного раньше, чем успеваете сообразить, зачем вы все-таки пришли сюда в свой единственный выходной день.

— Митрич, привет! — с фальшивой бодростью говорите вы вахтеру.

— Привет, оно, конечно, привет, — говорит вахтер. — Однако лучше бы вы все отдыхали сегодня...

— Кто-нибудь есть? — с надеждой спрашиваете вы.

— Найдутся, — отвечает вахтер и отворачивается.

После этой содержательной беседы вы чувствуете себя намного увереннее. Вы проходите за кулисы и в полутьме дважды спотыкаетесь обо что-то твердое и обо что-то мягкое.

Мягкое возмущенно шипит снизу:

— Тише, черт! Смотри, куда лезешь!

Глаза привыкают к полутьме, и вы узнаете своего приятеля, воздушного гимнаста. Он лежит на полу в замасленном комбинезоне, с карандашом в руках и что-то подсчитывает на клочке бумаги.

Твердым оказываются снятые с купола электрический мотор, разобранный редуктор, шкивы, инструменты и какие-то детали неизвестного назначения.

— Ты чего разлегся? — спрашиваете вы приятеля.

Не отрывая глаз от бумажки, он почесывает карандашом нос и отвечает:

— Понимаешь, тут дело вот в чем... При стабильном напряжении в двести двадцать вольт мотор дает восемьсот оборотов в минуту... Редуктор на выходе дает шестьдесят. Есть у меня еще два промежуточных шкивка, один к четырем... Дай сигарету! И получается, что мы медленно летаем. А нужно в полтора раза быстрее. Спички есть? Все это очень просто, но я тут чего-то запутался и не могу сообразить... Давай бери карандаш!

Вы берете карандаш и находите чистый листок бумаги.

— Значит, так! — оживленно говорит лежащий на полу воздушный гимнаст. — Если мы выкинем один промежуточный шкив...

Спустя полчаса вы тоже понимаете, что все это очень просто, но почему-то у вас ничего не получится. А еще через десять минут воздушный гимнаст забирает у вас карандаш, оставшиеся сигареты и посылает к чертовой бабушке. На душе у вас становится сразу легко, и вы направляетесь в манеж. Проходя мимо своей гардеробной, вы убеждаетесь, что она закрыта, а стоящий рядом с дверью реквизит тщательно запеленут, как новорожденный. Но вы уже не презираете себя за слабость, а, наоборот, думаете о себе как о человеке аккуратном и предусмотрительном.

Еще не дойдя до занавеса, вы слышите щелканье шамберьера и доносящийся с манежа голос дрессировщика лошадей:

— Алле! Ай, браво, Малышка!..

Тут вам становится уже совсем хорошо. Вы проскальзываете в боковой проход и, остановившись у барьера, невинно вопрошаете:

— Чего это вы, Николай Николаевич, задумали в выходной репетировать!

Дрессировщик лошадей берет шамберьер под мышку, достает пачку папирос и закуривает.

— Да вот не хватает мне времени для молодняка. Решил погонять их с утра, да завозился... Сейчас кончаем, — говорит он конюхам. — Пускай еще разок! Алле, Буян! Алле, алле, Малышка, не отставай! Ай, браво, мои хорошие!..

Лошади пробегают один круг, второй, третий, четвертый... А посередине манежа, прикусив давно погасшую папиросу, стоит дрессировщик и, держа шамберьер в вытянутой руке, ведет лошадей, то подгоняя одну, то сдерживая другую...

Лошади покрываются темными пятнами пота, с морд хлопьями слетает пена.

— Барьер! — кричит дрессировщик. Конюхи моментально открывают проход в барьере.

— Санже! — резко щелкает шамберьер.

Лошади поворачивают от середины круга и рысью убегают за кулисы. Там их перехватывают конюхи и уводят во двор, на ходу снимая сбрую. Дрессировщик тяжело перелезает через барьер.

— Ну а ты-то чего приплелся? Шел бы гулял... — устало говорит он.

Вы не успеваете ответить. В центральном проходе появляются два пожилых клоуна — маленький толстый и высокий худой. По прилизанным прическам и багровым физиономиям вы догадываетесь, что они только что из бани.

— Здравствуйте! — говорит маленький толстый, задыхаясь. — Ах, какая здесь парилка в бане!

— Равных нет, — говорит второй и вытирает платком шею.

— Ну что? — спрашивает толстый клоун, усаживаясь во второй ряд. — Трудитесь?

— Слушайте, сходите в парилку! Не пожалеете, — говорит второй, садясь рядом с ним. — Наших было человек восемь. Наверное, придут сюда.

И действительно, через несколько минут вваливается почти вся

группа акробатов-прыгунов. Это молодые ребята. Они совсем недавно окончили цирковое училище, и это их первый цирк.

Они усаживаются в третий ряд, сзади клоунов, и начинают преувеличенно громко восхищаться героическим поведением обоих клоунов в парилке.

— Смейтесь, смейтесь, молокососы, — ворчит толстый клоун. Он поворачивается к партнеру и говорит: — Как тебе нравятся эти наглые попрыгунчики, Вася?

— Эти наглые попрыгунчики мне совсем не нравятся, Гриша!.. Мало того что они сами выскочили из парилки через секунду после того, как влезли туда, так они еще набрались нахальства хихикать за нашими спинами здесь, в цирке! А мы с Гришей березовый веник в лохмотья превратили! Не вам чета!..

Сзади ехидно замечают:

— Зато потом кто-то из вас целый час в предбаннике ловил ртом воздух и держался за сердце...

Толстый клоун возмущенно вскакивает и поворачивается к прыгунам:

— Пусть мое сердце вас не волнует! Оно пролетало вместе со мной с трапеции на трапецию двадцать пять лет над манежами всех лучших цирков Европы и ни разу не подводило меня!.. И я не покрывался такой «интересной» бледностью, как вы после двух-трех сальто-мортале!.. И если сейчас мое сердце немножко сбилось с темпа, так это, во-первых, в бане, а не в манеже, а во-вторых, за сорок лет работы в цирке я видел таких остроумных мальчиков, как вы, сотни!..

Толстый клоун фыркает и садится на свое место.

Прыгуны смущены. Один из них, стараясь загладить неловкость, спрашивает:

— Вы работали в «Воздушном полете»?

Толстый клоун подсакивает на своем кресле:

— Нет, ты слышишь, Вася?! А!.. Как тебе это нравится?.. — Он поворачивается к уже совсем притихшим прыгунам и указывает на второго клоуна: — Вот сидит мой партнер. В номере «Воздушный полет» он много лет был ловитором... Так вот, пусть он вам расскажет, где я работал и как это выглядело! Вася, объясни им, они этого еще не проходили...

Высокий худой клоун заталкивает клочок ваты в мундштук

папиросы. Он долго роется в карманах, находит зажигалку и не спеша прикуривает.

— Кто такой Кодона был, знаете? — наконец спрашивает он прыгунов.

— Знаем!..

— А про старика Донато слышали?

— Слышали!

— Так вот, Кодона, Донато и Гриша были лучшими вольтижерами за всю историю цирка! Это были полетчики экстра-класса! И назывался Гриша тогда Райтонс! Ясно?

— Райтонс?! — Прыгуны ошеломлены. — Так мы вас еще в училище проходили!.. Дядя Гриша, так это вы были Райтонс?..

— Нет, это была моя бабушка, — обиженно буркает толстый клоун. — Кажется, эти мальчики действительно доведут меня до инфаркта!..

Но он уже не сердится. Он достает из кармана жестяную баночку с леденцами и, не оборачиваясь, протягивает ее в третий ряд.

— Лопайте конфеты, — говорит он. — Вы в том возрасте, когда еще не стыдно сосать леденцы. Я, например, это делаю с удовольствием, правда исходя из других соображений... — грустно добавляет он.

Прыгуны, чмокая, сосут леденцы. Мир.

Высокий худой клоун начинает вспоминать старые времена, хрестоматийные имена актеров, цирки прошлых лет и свою молодость. Толстый клоун тоже включается в разговор, и вот они уже оба, перебивая друг друга, рассказывают массу интересных историй, вспоминают курьезные случаи, легендарные ляпсусы и замечательных людей старого цирка.

Многое звучит необычно и удивительно, и по странным сочетаниям исконно русских имен и иностранных фамилий вроде Васьки Ферраро, Тимофея Брок и Ваньки Клерринг вы понимаете, сколько времени прошло с той поры, о которой взволнованно рассказывают два хороших пожилых клоуна...

Из-за кулис слышится унылое мычание саксофона. Вы узнаете настойчиво повторяющуюся музыкальную фразу из знакомой вам песенки.

Человека, дующего в саксофон, вы знаете. Это ваш знакомый

эквилибрист. Он хочет сделать второй номер со своей женой и почему-то считает, что для этого ему необходимо научиться играть на саксофоне.

Но вдруг за кулисами возникает треск мотоцикла. Саксофон в последний раз простуженно кашляет и смущенно замолкает.

— Рыбаки приехали, — говорит кто-то, и прямо в манеж на мотоцикле въезжают два акробата-эксцентрика. Оба они в соломенных шляпах, ватниках и резиновых сапогах. За спинами у них рюкзаки, а по бокам мотоцикла приторочены авоськи. У сидящего на заднем седле в руках пучок удочек.

— Привет! Привет! Привет! — кричат эксцентрики, совершая круг почета. Они глушат мотор, слезают и прислоняют мотоцикл к барьеру. Затем один из них снимает рюкзак, а другой достает оттуда штук тридцать мелких рыбешек, нанизанных на кусок шпагата. Они торжественно раскладывают связку во всю длину на барьере и молча раскланиваются.

— Почем брали? — спокойно спрашивает дрессировщик лошадей.

— То есть как «почем»?! — Эксцентрики потрясены до глубины души.

— Женька! — кричит с негодованием один другому. — Собирай, заводи, поехали!..

— Да мы вчера после представления до часу ночи весь двор перекопали, червей искали! — плачущим голосом говорит Женька.

— Мы уже в пять часов утра на озере были! — вопит Женькин партнер и запихивает рыбу в рюкзак.

— Не сердитесь, братцы, — говорит дрессировщик лошадей. — Я пошутил... Просто мне показалось, что для двоих рыбы здесь многовато...

— Что вы, Николай Николаевич! — сразу успокаиваются эксцентрики. — Клев был потрясающий! Мечта, а не клев!.. Там, на этом озере, рыба какая-то ненормальная... На что угодно берет! Хоть на окурки...

Женька снова вытаскивает рыбу и, держа в руках всю связку, направляется за кулисы.

— Ты куда? — окликает его партнер. Женька поворачивается:

— Отдам сторожихе на конюшне. Пусть себе уху варит... — Он раздвигает занавес и сталкивается с жонглером, который, держа своего

восьмилетнего сына за руку, входит в манеж.

Жонглер и его парнишка вежливо здороваются со всеми и озабоченно поглядывают на опилки.

— Чем вы смущены, Дима? — спрашивает высокий клоун.

— Я хотел немножко поднатаскать своего свинтуса, да вот ковер убрали...

— А вы возьмите репетиционную дорожку и постелите, — говорит дрессировщик. — Она лежит прямо за занавесом. Только манеж нужно заправить...

Он встает, идет в центральный проход и возвращается с охапкой граблей.

— Сынок, вот тебе ключ от гардеробной, беги переоденься и захвати ручную лонжу, — говорит жонглер.

Мальчик берет ключ и убегает за занавес. Дрессировщик лошадей подходит к группе акробатов-прыгунов и, вручая каждому грабли, говорит:

— В старое время любой цирковой артист умел заграбить манеж. А хорошо заправленный манеж — это произведение искусства! Не улыбайтесь, ребята! Вам, прыгунам, это должно быть очень хорошо известно... Идемте, я вам покажу, как это делается!

И вот начинается великолепный профессиональный урок заправки манежа.

Скоро все сидящие в креслах перелезают через барьер и присоединяются к прыгунам.

И факт остается фактом. Чем старше актер, тем лучше он владеет граблями. После нескольких взмахов дрессировщика и обоих клоунов их участок можно вымерять ватерпасом. Жонглер, эксцентрики и вы делаете это намного хуже. На ваше счастье, прыгуны заграбляют манеж настолько плохо, что ваш кусок арены выглядит по сравнению с их участком просто прекрасно.

Дрессировщик лошадей и клоуны выравнивают ваши огрехи, прыгуны расстилают ковровую дорожку.

Из-за занавеса появляется мальчик. Он в трусиках и мягких ботиночках. Жонглер снимает пиджак и ослабляет узел галстука.

— Разомнись, — говорит он сыну.

Мальчик бегает, прыгает, делает «колесики» и кульбиты, стоит на руках. Уже по тому, как он разминается, вы замечаете, что выполняет он

все чисто, красиво и, как говорят в цирке, «школьно».

— Разогрелся? — спрашивает жонглер сына.

— Да, папа, — отвечает мальчик.

— Надень лонжу.

Мальчик застегивает на себе пояс с веревками. Одну веревку берет в руки отец, вторую — кто-то из прыгунов. Мальчик серьезно и сосредоточенно репетирует бесчисленное количество раз перевороты и сальто-мортале. Он делает их с разбегу, с места, с барьера... Всякий раз, когда у него что-нибудь не получается, жонглер останавливает его и объясняет ошибки.

Затем мальчика учат, как нужно стоять на одной руке. Это оказывается сложнее, так как никто из окружающих не может показать мальчику, как правильно стоять на одной руке. Страдающие звуки саксофона за занавесом подсказывают выход из положения.

Измученный проблемой второго номера эквилибрист вызывается на манеж. Он приходит, отстегивает висящий на шее саксофон и бережно кладет его на барьер.

— На что жалуетесь? — тоном доктора спрашивает он мальчика.

— На одну руку, — смеется парнишка.

— Так это же не смертельно! — говорит эквилибрист. — Это делается так!..

Он блестяще выходит в стойку на одной руке и, щелкнув каблуками, замирает. Простояв несколько секунд, он опускается на ноги и начинает тренировать мальчика.

Света, проникающего в манеж через вентиляционные окна, становится явно недостаточно, и эксцентрик отправляется в будку электроцеха. Через пять минут он вытаскивает упирающегося электрика.

— Товарищи артисты! — говорит электрик. — Директор приказал в выходные дни энергию не жечь!

— Да ты посмотри, можно ли в такой темноте репетировать?! — обрушивается на него эквилибрист.

— Никто вас не заставляет репетировать, — отбивается электрик. — Сидите дома, там свет есть! Сегодня день нерабочий!

— Ах, нерабочий? Что же ты делаешь здесь в таком случае? — кричат все.

— Я особая статья, — уже спокойно говорит электрик. — Мне

нужно силовой щит переделать.

Маленький толстый клоун подходит к электрику.

— Пожалуйста, включите дежурный свет минут на двадцать.

— Хорошо, — говорит электрик. — Сейчас.

Свет включен, и репетиция продолжается.

Но вот клоуны смотрят на часы, прощаются и покидают цирк. Минут через десять с треском уезжают эксцентрики.

Мальчик идет мыться, а его отец, жонглер, надевает пиджак. Эквилибрист с отвращением осторожно укладывает саксофон в футляр и уходит. Прыгуны вспоминают, что у них билеты в кино, и мгновенно исчезают. Жонглер идет в будку электрика — нужно выключить дежурный свет. Свет гаснет, а жонглер не возвращается. Он, наверное, забрал сынишку и ушел с ним домой. В цирке уже совсем темно.

Вы, кажется, хотели куда-то пойти вечером? Ах да!.. В театр... Но спектакль кончается поздно, и вы не выспитесь перед завтрашней репетицией...

Вы медленно направляетесь за кулисы.

Совершенно так же, только ногами в другую сторону, лежит на полу воздушный гимнаст. Вокруг него вдвое больше деталей.

— До свидания, — говорите вы ему.

Воздушный гимнаст смотрит куда-то мимо вас.

— Если мы выкинем один промежуточный шкив... — совершенно безнадежно шепчет он.

Из проходной плывет запах ухи и лаврового листа. Сторожиха по конюшне что-то горячо рассказывает старику вахтеру, размахивая руками. Вахтер смотрит на ее руки и кивает головой в такт каждому взмаху...

Вы выходите на вечернюю улицу и даете себе слово, что следующий выходной проведете совсем не так!..

## Настоящие мужчины

Казакова вызвал директор цирка и сказал:

— Послушайте, Казаков, ваш репетиционный период кончается...

— Да, — сказал Казаков.

— Завтра начинает работать новая программа, — сказал директор. — По-моему, вам есть смысл включиться в нее.

— Нет, — сказал Казаков и попросил разрешения уйти.

Последние дни Казаков репетировал из рук вон плохо. Сначала было три месяца репетиционного периода, затем Казаков попросил еще месяц, затем еще...

За восемнадцать лет работы в цирке Казаков впервые делал номер один, без партнеров.

Первые семь лет после окончания циркового училища он работал в «Воздушном полете». Там, кроме него, было еще пять человек, и Казаков многому научился у них. Когда умер руководитель номера, в прошлом лучший полетчик русского цирка, партнеры разбрелись кто куда, а «полет» расформировали. Казаков нашел себе нового партнера и сделал хороший номер — «Воздушные гимнасты».

Шли годы. Номер становился все лучше и лучше. Имена Казакова и его партнера произносились с уважением и причислялись к ведущим. Так прошло еще одиннадцать лет.

Но однажды его партнер, спокойный и добрый человек, после выступления на детском утреннике лег, не снимая грима, на обшарпанный диван и сказал усталым голосом:

— Казаков, достань, пожалуйста, из верхнего кармана моего пиджака стеклянную пробирочку...

Казаков достал пробирку с надписью: «Валидол».

— Давно? — спросил Казаков.

— Давно, — ответил партнер, вынимая таблетку.

— Почему ты молчал?

— Хороший ты мужик, Казаков, — улыбнувшись, сказал партнер. — Позови-ка доктора...

Партнера увезли лечиться в Одессу. Больше они уже не работали.

Казаков попросил отпуск за свой счет и уехал в Ленинград. Он

просидел весь месяц в музее цирка и поднял историю всех воздушных номеров. Обложившись словарями, он переводил подписи под рисунками и фотографиями пятидесятилетней давности. Казаков искал новую форму воздушного номера для одного гимнаста, и ему очень важно было знать все, что имело к этому отношение.

И когда Казаков вернулся в Москву и принес в художественный отдел главного управления цирков сценарий нового номера, все, в том числе и он сам, решили, что трех месяцев подготовки будет достаточно, и отправили его репетировать в один из лучших цирков, в тот самый Ленинград, где он только что пробыл целый месяц. К концу третьего месяца номер был готов. Почти готов... Во всяком случае, Казаков мог начать работать. Но он чего-то испугался и попросил еще месяц. Ему дали.

Каждый день Казаков проходил номер по несколько раз целиком, шлифовал отдельные трюки и часами возился с реквизитом, то сидя на пятнадцатиметровой высоте, то сняв аппарат с купола и расположившись у себя в гардеробной. Гардеробная напоминала слесарную мастерскую, а сам Казаков, в промасленном комбинезоне, черном бумажном свитере и старой кепке, сдвинутой козырьком назад, был похож на кого угодно, только не на воздушного гимнаста.

Он похудел, осунулся, стал раздражителен. Мелкие неполадки, на которые он в процессе работы не обратил бы внимания, сейчас казались ему крупными неудачами. Слишком ново было все, что он делал, слишком непривычно...

В глубине души Казаков чувствовал, что боится премьеры, боится того, что номер не понравится, что его имя будет с уважением упоминаться только в связи с его прошлым... Он боялся начать работать. И хотя прекрасно знал, что номер нужно «обкатать» на зрителях, что чувство неуверенности пройдет, решиться не мог. Это была не боязнь новичка, впервые выходящего в ярко освещенный манеж и терзающегося грядущей неизвестностью. Наоборот, ему было все известно заранее. И это пугало его больше всего.

Он представлял себе, как после первого неудачного (а Казаков был в этом почти уверен) выступления кто-нибудь из давних приятелей, не очень искренне растягивая рот в добродушную улыбку, хлопнет его по плечу и скажет:

— С дебютом тебя, старина! Чего киснешь? Со всеми бывает... —

И этаким бодрячком отойдет, уверенный в том, что его морально-этический долг выполнен, и к тому же очень тонко и тактично. И самое занятное, что последующие пять человек скажут почти то же самое. И все будут рассказывать истории о неудачных дебютах, о неполучившихся номерах, когда нарушалась классика и традиция жанра, и вспоминать цирки прошлых лет, когда: «Помнишь, старик, какой был гром аплодисментов!»

В общем, было плохо. Просто очень плохо. В такие дни он уходил из цирка и подолгу бродил по городу.

Казаков шел по Большому проспекту, изредка останавливаясь у магазинов, разглядывая собственное отражение среди витринных муляжей и манекенов, одетых в неправдоподобно отглаженные костюмы. Кокетливо засунутые за ленты шляп таблички с ценами придавали манекенам легкомысленный вид.

«Я устал, — подумал Казаков. — Мне тридцать пять, и я устал... От этого все... Нет, ну конечно, я не могу начинать. Номер совсем еще сырой... Месяц, еще месяц, и все будет в порядке. Ах, черт побери, а нужен ли этот месяц? Я раскис, вот в чем дело. Просто раскис...»

Кто-то легонько дотронулся до его плеча:

— Простите, пожалуйста, вы последний?

— Что? — удивился Казаков.

— Я спрашиваю, вы крайний в очереди?

— В какой очереди?

— Ах, ну, Боже мой, за виноградом!

Пожилой человек нервно теребит авоську и смотрит на Казакова. Казаков пытается выяснить, почему он стоит в очереди за виноградом, и это ему не удается.

— Да, я последний, — вежливо улыбаясь, говорит он.

Плоские ящики с яркими заграничными наклейками окружают столик с весами. Виноград очень красивый, матовый и крупный. Целый кулек состоит из одной кисти. Казаков перешел улицу и попал в скверик на Кронверкской. У фонтана он сполоснул виноград и подумал: «Не могу я начать завтра... Не могу...»

Он сидел на скамейке и смотрел на величаво проплывающих мам, нянь и бабушек с разноцветными колясками. Виноград был холодный, и Казаков согревал каждую ягоду, подолгу держа ее во рту.

И вдруг его внимание привлекла странная процессия.

Впереди шла женщина лет пятидесяти, с усталым лицом и близорукими глазами. На ней были какая-то очень старомодная шляпа, вытертое и порыжевшее от времени пальто и высокие желтые резиновые боты. Из-под пальто выглядывал белый медицинский халат.

В руке она держала бельевую веревку. Второй конец веревки был в руках у круглолицей и веселой девушки, тоже в халате из-под пальто. Вся веревка была облеплена детьми, которые держались за нее попарно и что-то громко и нестройно пели.

Они были похожи на виноградную кисть, и Казаков улыбнулся. Рядом с девушкой, держа ее под руку, шел высокий курсант морского училища.

Когда курсант что-то говорил девушке, ласково наклоняясь к ней, девушка поднимала голову и смотрела на него восторженными глазами. Они замедляли шаг, веревка натягивалась, и женщина, шедшая впереди, думая, что это делают дети, не оборачиваясь, монотонно выкрикивала:

— Живенько, живенько, раз-два!

Эта цепочка направлялась к большому ящику с песком, стоящему посередине сквера, на скрещении трех аллей.

У ящика с песком процессия остановилась.

Цепочка рассыпалась, а пожилая женщина села на край скамейки и принялась заботливо скручивать бельевую веревку. Освобожденные от веревки девушка и курсант стояли сзади скамейки и, казалось, были счастливы...

Казаков собрался было приняться за виноград, как вдруг заметил, что одно из звеньев процессии направилось прямо к нему. Звену было не больше трех-четырех лет. Оно было одето в зеленое пальто с капюшоном и красные рейтузы. Пальто напоминало колокольчик. Через плечо на ремне висела большая армейская кобура.

Казаков понял, что будет иметь дело с настоящим мужчиной. Владелец капюшона и кобуры остановился возле него, заглянул в кулек и, подняв большие строгие глаза, спросил:

— А он мытый?

— Да, — сказал Казаков. — Мытый...

И тогда «колокольчик» стал есть виноград, старательно выплевывая косточки.

Он съел всю кисть и протянул руки ладонками вверх. Казаков понял, что их нужно вытереть, и вытер.

— Это — «женщины пальчики», да? — спросил человек с кобурой больше из вежливости, чем из любопытства.

— Нет... Не знаю... — смутился Казаков. — Кажется, это болгарский.

— А, — сказал мальчик. — Ну, я пойду.

— Иди, — сказал Казаков.

Какая-то огромная убежденность в своей правоте и уверенность в самом себе были в этом маленьком человеке. Казаков проводил глазами зеленый капюшон и красные рейтузы, встал и вышел из сквера.

Уже сидя в троллейбусе, он увидел виноградную косточку, прилипшую к рукаву пальто, и подумал, что завтра вечером в манеж он выйдет в белом костюме, а не в том синем, с блестками...

Белый лучше пошит, и в нем будет легче работать.

Через несколько дней секретарь директора цирка расписалась в получении телеграммы на имя Казакова из Одессы.

Казаков нравился ей. Он вообще многим нравился, а ей особенно...

Осторожно, стараясь не порвать полоску бумаги, склеивавшую телеграмму, она отогнула текст и прочла:

«Поздравляю дебютом зпт желаю счастья тчк Хороший ты мужик Казаков тчк».

Подписи не было.

## Женька Каблуков — человек странный...

Отца у Женьки Каблукова не было. Женька жил с матерью в Москве, в Большом Толмачевском переулке, около Третьяковки. Домик был маленький, деревянный. Он стоял, прислонившись к громадному зданию, и стыдливо выглядывал в переулок двумя каблуковскими окошками.

Женька был человеком странным. Станным и непонятным... Еще в те далекие времена, когда Женька был студентом циркового училища — а это было действительно очень давно, около трех лет назад, — все окружающие считали, что Женька «не от мира сего»...

Нет-нет, не пугайтесь! Он не был отличником учебы, не был ярым борцом за стенную печать и не исключался из училища за профнепригодность. К четвертому курсу он даже не стал пижоном и выглядел точно так же, как и в то время, когда держал приемные экзамены.

И все-таки он был человеком странным. Станным и непонятным.

Ну какому взрослому человеку, у которого за плечами шестая часть века, придет в голову собирать этикетки от спичечных коробок? Марки — это понятно. Монеты — вполне уважаемо! Но этикетки?

А Женька собирал. За какой-то паршивой коробочкой из какой-то серии Женька три раза ездил в Балашиху к такому же, как и он, спичечному психу.

Это еще не все. Дикую нелепость Женька совершил именно тогда, когда ему осталось два шага до того, чтобы считать свою коллекцию самой большой в Москве.

Он случайно узнал, что редакция детской газеты дарит велосипед «Орленок» собравшему наибольшее количество этикеток. И тогда Женька отдал свою роскошную коллекцию первому попавшемуся дворовому мальчишке и тем самым усадил этого мальчишку в седло велосипеда. Ну как вам это нравится? Вы видели что-нибудь подобное?

Или вот, например, вставочка. То есть как, какая вставочка? Обыкновенная. Ну, знаете, такая ручка с пером, которую покупают ученику второго класса, когда ему наконец официально разрешают

писать чернилами.

Так вот... Уже давным-давно его приятели щеголяли автоматическими перьями самых различных конструкций, а Женька невозмутимо пользовался какой-то деревянной ручкой с обкусанным концом. Помимо следов Женькиной задумчивости, вставочка носила на себе две буквы — «А» и «К», вырезанные, очевидно, очень давно, но, по-видимому, не поддающиеся никакой расшифровке. Странно, правда ведь? И уж совсем непонятным было Женькино поведение, когда Юрочка Залесский, самый красивый и остроумный мальчик всех четырех курсов, брезгливо взял двумя пальцами вставочку с буквами и спросил:

— Простите, мсье... Какой фирмы это перо? Это «Паркер» или «Монблан»? Кто тот почтенный старичок, от которого вы унаследовали эту археологическую редкость?

Вот тут-то Женька и повел себя непонятно. Он осторожно вынул из Юрочкиных рук свою обкусанную деревяшку и неосторожно коротко ударил Юрочку в челюсть.

Юрочка на десять дней был освобожден от занятий по дикции и мастерству актера, а Женькина мама целый час разговаривала с директором училища у него в кабинете при плотно закрытых дверях. Женька сидел в приемной и ждал кары.

Дверь отворилась, и вышел директор. Женька встал.

— Какая у вас сейчас лекция, Каблуков? — спросил директор.

— История цирка, — мрачно ответил Женька.

— Так вот, пожалуйста, Каблуков, идите и изучайте историю цирка, — сказал директор и ушел к себе в кабинет.

Возмездия не последовало. Даже собрания не было! Странно, правда?

Кроме всего прочего, Женька умудрялся наделять неодушевленные предметы черточками человеческих характеров и, случалось, подолгу разговаривал с ними. У него были вещи-приятели, вещи-враги и вещи, к которым он относился равнодушно.

С вещами-приятелями Женька был всегда вежлив. В Москве, на Ордынке, недалеко от его дома, у него был «приятель» телефон-автомат. Несколько телефонных будок стояло в помещении почты — Женька хранил верность своему телефону. Даже тогда, когда все будки были свободны, а его автомат занят, Женька честно ждал своего

«приятеля». Будка освобождалась, Женька заходил и, ласково похлопывая телефон по матовым серым бокам, начинал кормить его монетками, обзванивая всю Москву. Иногда в благодарность за искреннюю дружбу автомат дарил Женьке пару лишних монеток, и Женьку это радовало. Нет, что ни говорите, а Женька был человек странный... Странный и непонятный...

Даже когда Женька получил диплом, в котором черным по белому было написано, что он, Каблуков Евгений Александрович, поступил в Государственное училище циркового искусства тогда-то и, окончив его тогда-то, получил квалификацию артиста, странности Женькины не кончились.

Его партнеры к нему привыкли и любили его. Женька был хорошим акробатом и, как говорят в цирке, «куражливый», то есть смелым, а это очень важно быть «куражливый» в цирке...

Но порой даже партнеры поражались, глядя на Женьку. Как-то в одном из цирков Женька подружился с ослом. Осел принадлежал дрессировщику зверей.

Недели две Женька подлизывался к ослу и подкармливал его всякой всячиной. Осел лежал возле душевой в конце закулисного коридора. Женька ежедневно по несколько часов в день проводил около осла. И однажды торжественно сообщил партнерам, что мог бы сделать с этим ослом совершенно потрясающий номер, так как осел узнает даже его, Женькины, шаги, а только сейчас слопал из его рук бутерброд с кетовой икрой, чего ни один осел в мире еще не делал!

Партнеры усомнились и недоверчиво покачали головой. На следующее утро во время репетиции дрессировщика Женька уселся в первый ряд и заявил партнерам, что сейчас они увидят, на что способен он, Женька.

Осла вывели в манеж, и дрессировщик, щелкая его кнутом по серенькому заду, стал учить осла ходить «испанским шагом». Осел понятия не имел об «испанском шаге», и дрессировщик нервничал.

Женька взглянул на партнеров и, тихонько сказав: «Вуаля!» — как-то особенно щелкнул двумя пальцами. Осел моментально повернулся в Женькину сторону и, совершенно забыв о дрессировщике, направился к Женьке. Он подошел к краю манежа и потянулся через барьер к первому ряду. Женька, довольно ухмыляясь, погладил осла и что-то ласково сказал ему. Осел опустил на колени, положил голову на

барьер и преданно посмотрел на Женьку.

Дрессировщик бросил кнут в опилки и закричал не своим голосом, что он давно уже замечает, что Женька кормит осла всякой дрянью и сюсюкает с ним и что если ему, Женьке, приспичило стать дрессировщиком, то пускай ищет себе ослов где угодно, а не сбивает с толку бедных чужих животных! И вообще, пускай Женька немедленно убирается с его репетиции, не то он, дрессировщик, найдет на него, Женьку, управу!

Короче говоря, Женьку с треском выгнали из зрительного зала, а директор цирка вклеил ему выговор и запретил подходить к ослу ближе чем на двадцать метров.

В течение нескольких дней Женька и осел с немой тоской и нежностью поглядывали друг на друга с расстояния, обусловленного дирекцией цирка.

Женькина партнерша сказала, что все это смахивает на историю Ромео и Джульетты. Партнер заявил, что лишь бы не отравился осел, а за Женьку он, дескать, спокоен. Сказал он это не без основания, так как ему показалось, что выговор охладил Женькину преступную страсть к дрессировке чужих ослов. Так оно и было: Женька больше не пытался дрессировать «бедное чужое животное». Однако ни у Женьки, ни у осла расположение друг к другу не пропало. Ни скандал в манеже, ни выговор в приказе не могли повлиять на настоящую мужскую дружбу осла и Женьки.

Приятель встречались тайно. Поздно вечером, когда заканчивалось представление и парадные входные двери цирка запирались изнутри на громадные амбарные замки, Женька приходил в конец закулисного коридора. Осел лежа жевал сено, а Женька, усевшись рядом, рассказывал ему события минувшего дня.

Но однажды в цирк пришел приказ отправить дрессировщика со всеми его животными в другой город, в другой цирк.

И Женька очень разволновался. У него все, буквально все валилось из рук. К счастью, в цирке был выходной день и на работе номера это не отразилось. С утра и до позднего вечера во дворе цирка шла погрузка. Реквизит и клетки с мелкими животными ставились на грузовики и увозились на станцию. К вечеру пошел противный дождь. В цирке остались крупные животные: слон, две зебры и осел. Даже медведи и те уже уехали.

— Крупные животные, — сказал дрессировщик, — пойдут на вокзал своим ходом.

Но, как потом выяснилось, зебры не хотели идти вечером, в дождь «своим ходом». Они вообще никаким ходом не хотели идти, и с величайшим трудом их зачихали в грузовик с высокими бортами. Как зебры ни визжали, а их все-таки увезли. Потом, весело помахивая хоботом и хвостом, ушел слон.

А потом... А потом пришли за ослом. Дрессировщик увидел Женьку около осла и ничего не сказал. И Женька ничего не сказал. И осел ничего не сказал. Он просто поднялся и пошел за дрессировщиком. Женька побрел вслед.

Большие ворота закулисной части были настежь распахнуты в холодный вечерний дождь. Медленно ступая, осел шел в этот черный квадрат, повернув голову, глядя на Женьку. Он даже наткнулся на что-то, так как не видел, куда шел.

— Ну, ты! Слепая курица! — крикнул дрессировщик и дернул за веревку. Осел вышел во двор и сразу же за пеленой дождя стал терять свои очертания.

Женька прошел еще несколько шагов и остановился. Он уже почти не видел осла. Струйки дождя стекали с головы и заливали глаза, да и совсем темно было.

Какое-то неясное пятно расплывалось в вечерней дождливой мгле, и только медленные, шлепающие по лужам шаги слышались оттуда, куда уходил осел...

Странный человек Женька Каблуков. Странный и непонятный...

## Рассказ про Женьку Каблукова

Все это случилось осенью в одном небольшом южном городке, жители которого глубоко убеждены, что они живут в центре вселенной, а Минск, Париж, Одесса, Лондон и Харьков — это не что иное, как предместья их собственного города. И конечно, в городе были театр оперетты и цирк шапито.

Весной закрытие зимнего сезона театра, а осенью закрытие шапито воспринимались трагически, как личное оскорбление городу.

Жители этого города справедливо считали, что если городу нельзя иметь собственный планетарий, то уж цирк может работать круглый год, ничего с ним не случится.

В общем, это был хороший город, и в нем был хороший цирк.

Цирк имел брезентовый купол цвета хаки и был виден из любого конца города. Даже из дачной местности...

Собственно говоря, город здесь ни при чем. Просто в нем стоял цирк. И в цирке шло последнее представление летнего сезона...

Впрочем, давайте по порядку...

Во-первых, кто такие Михеевы?

Михеевы — это Гена и Зина, брат и сестра, и Женька. Но Женька им не родственник. Он партнер. И фамилия у Женьки Каблуков, а не Михеев. Но назывались они «Михеевы» вовсе не потому, что Михеевых в номере больше, чем Каблуковых, а потому, что Гена Михеев был существом более организованным, чем остальные партнеры. К тому же он был «нижним». А в-третьих... Впрочем, перечисленного вполне достаточно, чтобы именно Михеев был руководителем номера. И поэтому они назывались «Михеевы».

Честно говоря, иногда Женька думал о том, что, если бы у него была более звучная фамилия, он просил бы объявлять каждого. Ну например: «Зинаида и Геннадий Михеевы и Евгений Изумрудов!» Но так как Женька был все-таки Каблуков, то их и объявляли: «Темповые акробаты артисты Михеевы!»

Женька был человек увлекающийся. Еще на третьем курсе в цирковом училище, когда он начал репетировать номер с Михеевыми, он влюбился в Зину, сестру Гены. Но эта любовь прошла через три

месяца, и виновата была в этом Зина. Женька понял, что не может любить человека, которому невозможно вдолбить, что на заднем сальто нужно брать плотную группировку! А так как Зина и не подозревала о том, что Женька был в нее влюблен, «разрыв» прошел незамеченным. Отношения между партнерами остались приятельские, и всех троих это устраивало.

В первом же цирке, где дебютировали Михеевы, Женька навсегда полюбил Клару Гурьеву, дочку коверного клоуна. Однако после того как Клара заявила, что лучшая в мире книга — «Кукла госпожи Барк», а Есенин — «просто душка», Женька понял, что нет в жизни счастья и что он «не создан для блаженства...».

Потом Женька взялся писать стихи. Стихи почему-то получались грустные, с надрывом... Однажды Женька прочел стихи Гене и Зине. Он читал, стоя в одних трусах, босиком на реквизитном ящике в гардеробной. И когда он дошел до строчек:

Вечно я в ленту барьера закован,  
Выход отсюда один — за кулисы,  
Я вот в тоску, как багаж, упакован.  
Вам не понять ли, вы тоже актриса... —

Зина посмотрела на него увлажненными глазами, а Гена сплюнул и сказал Женьке:

— Черт знает что нагородил! Какое-то больное творчество!.. Ты бы, Женька, лучше пируэт сальто-мортале отрепетировал! А то такой закорючкой летаешь по манежу, что смотреть противно!

Вечером этого же дня Женька сделал блестящее сальто с пируэтом и, бросив писать стихи, с жаром принялся придумывать какой-то «потрясающий» воздушный номер!

Он вооружился учебником физики для восьмого класса и целыми днями чертил, рисовал и придумывал какой-то сногшибательный аппарат. Он показал свои чертежи цирковому инженеру, и «гениальное изобретение» отправилось в мусорный ящик. Причем рука, выбросившая чертежи, записи и рисунки, была мужественной рукой самого Женьки.

Цирку Женька был предан неистово.

Репетировали они до одури... Ругались, кричали друг на друга, спорили и блестяще работали на представлениях.

Почти каждый вечер Михеевы просили кого-нибудь из приятелей

встать у занавеса с часами и засечь время их работы в манеже.

Темп, прежде всего темп, считали Михеевы.

— Четыре минуты двенадцать секунд! — кричали приятели, когда Михеевы выскакивали за кулисы.

Женька, тяжело дыша, хватался за голову.

— Какой кретин назвал нас темповыми акробатами, хотел бы я знать? Четыре и двенадцать! Это борьба с удавом, пластический этюд, все, что угодно, но только не темп! Мы ползали по манежу, как сонные мухи!..

Но когда на следующий день раздавался крик очередного хронометражиста: «Четыре и семь!» — мокрый и взъерошенный Женька, задыхаясь, говорил: «Блеск!» — и, не заходя в гардеробную, начинал стаскивать прилипшую к телу рубашку.

— Молодцы, партнерчики! — кричал Михеев.

— Рады стараться! — отвечали Зина и Женька. И они действительно были очень рады.

Всю последнюю неделю шли дожди.

С утра серой пеленой они окутывали теплый город и к вечеру охлаждали его настолько, что люди зябко ежились в пропитанных влагой плащах, глядя на окружающие предметы сквозь струйки, стекающие с полей шляп.

Намокло шапито. Оно стало густого темно-зеленого цвета и тяжело провисало. Все тросы и канаты, опутывающие цирк, натянулись и, когда кто-нибудь случайно задевал их, издавали долгий грустный звук, роняя на землю сотни прозрачных холодных капель.

Шло последнее представление. Летний сезон заканчивался, и актеры разъезжались по разным циркам.

Закончив свой номер, актеры не бежали, как обычно, в душ, а, наскоро сняв грим, переодевались в старые штаны, рубахи или комбинезоны. Откуда-то вытаскивались ящики, разбирались реквизит, укладывались костюмы. Каждый старался закончить упаковку до конца представления.

Михеевы были в наивыгоднейшем положении. Они работали первым номером. Единственное, что смущало их, это репетиционная лонжа. Лонжа прикреплялась под куполом, и снять ее можно было только после представления.

— Ребята, — сказала Зина, — а что, если снять лонжу в антракте?

— Блестящая идея! — сказал Гена. — Внимание, Женька! Ты надеваешь униформу и выходишь в антракте в манеж. Я со стороны двора лезу на купол, снимаю лонжу и на веревке сквозь клапан шапито опускаю тебе в манеж. Ясно?

— Ясно, — ответил Женька. — Только униформу надеваешь ты, а на купол лезу я.

— Какая разница?

— Никакой. Просто если ты в прошлом году в Астрахани в сорокаградусную жару заболел фолликулярной ангиной, то сейчас там, наверху, воспаление легких тебе обеспечено...

— Ты с ума сошел, Женька!

— Он прав, — тихо сказала Зина.

— Да ну вас, — отмахнулся Михеев и вышел из гардеробной.

— Не забудь взять веревку, — сказала Зина.

— Какую веревку? — удивился Женька.

— Как какую? Лонжу спустить. Не будешь же ты ее бросать сверху в манеж!

— Да-да, конечно. Совсем из головы выскочило. Скучный ты человек, Михеева! Ты все знаешь, все помнишь...

— Довольно трепаться, — улыбнулась Зина. — Ищи веревку и лезь на купол.

— А где она?

— Не знаю, не помню. Где-то здесь, в гардеробной. Ищи сам. Привет!

Женька растерянно огляделся вокруг и нехотя пошарил под столом. Вербки не было. Он заглянул во все углы. «Наверно, в ящике», — подумал он. Ящик был завален старыми костюмами, инструментами и разным барахлом. В довершение всего на ящике стоял репетиционный трамплин. «Конечно, в ящике», — тоскливо подумал Женька и огляделся по сторонам.

На стене висела бухта капронового троса толщиной в палец и длиной метров в тридцать. Трос был предназначен для изготовления новой подвесной лонжи и служил предметом зависти и восхищения всех акробатов. Сплетенный из тоненьких капроновых «жилок», он выдерживал до семисот килограммов «на разрыв».

Женька снял с гвоздя это капроновое чудо и, надев бухту через плечо, сунул в карман комбинезона пассатижи. Нахлобучив на голову

старый Зинин берет, он вышел из гардеробной в закулисный коридор, юркнул мимо Михеевых и выскочил во двор.

Шел мелкий противный дождь.

Цепляясь и подтягиваясь руками за канат, свисающий с мачты, Женька по мокрому и скользкому шапиту влез наверх, встал ногами на балки и, держась за выступающий конец мачты, немного постоял, переводя дыхание.

Брезентовый купол шапито лежал на двух стальных балках, укрепленных за верхушки форменных мачт. Расстояние между ними было не больше полуметра.

И если бы не было так темно и не шел дождь, Женька не отказал бы себе в удовольствии прошагать во весь рост по брезенту на высоте семнадцати метров.

Но сейчас, совершенно промокший, он этого делать не стал. Он уселся верхом на балки, свесил ноги по обе стороны купола и стал продвигаться к середине гребня шапито.

— Рано я влез на купол, — разозлился он, прислушиваясь к хохоту зрителей и истошным воплям коверных клоунов. — Сейчас только кончится реприза, а еще Сатаровы... Они работают минут семь-восемь.

Женька доехал верхом до брезентового клапана и огляделся. Сквозь лиловую темноту позднего вечера и мелкую сетку дождя город искрился дрожащими огоньками и казался очень большим.

Дождь неожиданно прекратился, Женька откинул клапан в сторону. В лицо приятно ударила струя теплого воздуха. «Как в Москве, в ГУМе, когдаходишь с улицы...»

— Воздушные гимнасты братья Сатаровы! — донеслось до Женьки. Это был последний номер первого отделения.

Женька улегся на брезент между балок. «Как на раскладушке», — промелькнуло у него в голове. Он заглянул вниз, в манеж.

Братья Сатаровы, двое высоких, здоровых парней, сверху казались очень толстыми и короткими. Женька видел только их головы, плечи и носки ног. Женька засмеялся. Но вот Сатаровы дошли до центра манежа, и Женька потерял их из виду.

Стальные тросы всех лонж, растяжки и балки, то есть почти вся, как говорится в цирке, «паутина», крепились за обе балки в том месте, где находился клапан. Они скрещивались, перехлестывались и расходились от клапана вниз, в разные стороны, очень важные,

необходимые, слегка провисающие под собственной тяжестью.

Женька протянул руку и потрогал серые теплые витки, намотанные на балки. Он сразу нашел тросик своей лонжи и рядом увидел «восьмерки» и узлы какого-то толстого троса. Один конец этого троса заканчивался петлей, которая висела под самой балкой. Петля троса соединялась с подвесным кольцом блока — чекелем, этакой стальной подковой, через концы которой проходит толстый винт. Он накрепко замыкает подкову чекеля.

Блок принадлежал Сатаровым. Он висел рядом с Женькиным носом и мешал ему смотреть на манеж. Через блок проходил трос от трапеции Сатаровых до лебедки, установленной за кулисами. Кто-то из униформистов включил лебедку, и Женька увидел, как блок, запев тоненькую песню, начал протаскивать сквозь себя трос, поднимая в воздух сидящих на трапеции Сатаровых. Левая балка стала мерно покачиваться. Чем выше лебедка затягивала трапецию с братьями, тем визгливее скрипел блок, сильнее подрагивала балка. Дождь снова начал моросить, и Женька подумал о том, что нужно закрыть клапан. Но он этого не сделал. Он просто подвинулся вперед и, продолжая смотреть на манеж, закрыл собой отверстие. Блок замолчал, трос остановился, но балка продолжала раскачиваться. Сатаровы были где-то рядом, метрах в пяти-шести от него. Но Женька никак не мог устроиться так, чтобы видеть все, что делают Сатаровы.

Женька проверил, не потерял ли он пассатижи, и, поправив веревку на плече, подумал: «Михеич, наверно, раскричится: „Обязательно надо было капроновый трос схватить!.. Сам знаешь, с какими трудностями он нам достался!..“»

Внизу под балкой что-то противно хрустнуло, и блок сбился со своего ритмичного поскрипывания. Женька глянул и вдруг совершенно отчетливо увидел тонкую серебристую полосу трещины на сгибе подковы чекеля. Там, внизу, под Женькой, Сатаровы сделали какой-то трюк, балка качнулась, хруст повторился, и серебряная трещина еще ярче сверкнула кристаллами разрывающегося металла.

Женька понимал, что с каждым новым трюком, с каждым новым рывком трещина будет увеличиваться. Еще два-три раза повторится этот паршивый звук, чекель лопнет, и Сатаровы с двенадцатиметровой высоты полетят с блоком, с трапецией, со всеми растяжками прямо в ряды зрителей.

Женька оцепенело смотрел на маленькую страшную трещинку.

Нужно кричать! Нет-нет... Не нужно кричать. Что же делать?! Вот опять этот звук! Что же делать?

И вдруг все стало на свои места. Все стало сразу ясным и простым.

Не отрывая глаз от расширяющейся трещины, Женька приподнялся и, держа один конец в руках, кинул в темноту всю бухту. Разматываясь, веревка мягко заскользила по мокрому шапиту. Трясущимися руками Женька продел веревку в подвесное кольцо блока. Уравняв концы веревки, он попытался просунуть их между брезентом и балкой. Брезент так тяжело и плотно был прижат к балке, что Женьке пришлось отказаться от мысли закрепить капроновый трос рядом с его собственной лонжей. Он намотал капроновый трос на руку и тут же подумал: «Не удержать мне... За мачту бы зацепиться. За мачту!»

Балку качнуло еще раз, и Женька увидел, как чекель стал изменять свою форму, вытягиваясь и разевая серебряную пасть трещины. «Не успеть за мачту...»

Женька сбросил веревку с рук и лежа обмотал ее несколько раз вокруг груди. Свободные концы он пропустил еще раз через блочное кольцо и, завязав их двумя узлами, намотал на левую руку. Затем он повернулся и лег поперек балок, закрыв собой отверстие клапана. Плечами и грудью он лежал на одной балке и животом на другой.

Балка качнулась, и Женька почувствовал, как стал натягиваться капроновый трос. Женька лежал поперек гребня купола, и ноги его свешивались по одну сторону шапито, а голова лежала по другую сторону. Он прижался щекой к мокрому брезенту. «Выдержал бы капрон... хоть бы выдержал!»

Теперь ему не нужно было смотреть в манеж и видеть Сатаровых, трапецию, блок и эту трещину...

«Сейчас рванет! — подумал он, закрывая глаза. — Только бы в клапан не втянуло, а то загремим все вместе...»

Захрустел разрывающийся чекель.

А-а-ах-х!! Со страшной силой Женьку прижало к балкам. «Хорош!» — сказал про себя Женька и почувствовал дикую боль в груди. В горле у него что-то булькнуло, и дышать стало почти невозможно. Женька лизнул мокрый брезент и прислушался. Не было ни криков, ни звука падения. Откуда-то снизу он услышал голос старшего Сатарова: «Ап!» — и на мгновение Женьку прижало еще

сильнее. Что-то глухо треснуло у него в груди, и раздались аплодисменты.

Женька закашлялся. Рот наполнился чем-то горячим и соленым. Сплюнув, он торопливо глотнул воздух. Огоньки города, лежавшего под ним, сливались в дрожащие желтые нити.

«Сейчас еще один трюк, — подумал Женька, и страшная тяжесть опять сдавила ему грудь. — Какой длинный номер...»

Аплодисменты он услышал как будто с середины, словно откуда-то вернулся и опоздал к их началу.

Женьку стало подташнивать, и он опять лизнул мокрый холодный брезент.

Двое парней, трапеция, блоки и стальные тросы растяжек весили очень много, но Женька уже почти не чувствовал этой тяжести, а ждал исполнения трюка, — трюка, от которого вес увеличивался вдвое, от которого в груди что-то глухо потрескивало, а рот наполнялся горячим и соленым.

Новый рывок, новая боль и долгие-долгие аплодисменты вернули Женьку откуда-то издали на купол черного и мокрого шапито...

«Хороший финал у них, этот „двойной обрыв“, — медленно подумал Женька, не открывая глаз.

Затем он услышал, как завизжал блок, опуская Сатаровых в манеж, и нарастающий гул аплодисментов спокойно снял с него громадный вес...

«Хорошо, что мы достали эту капроновую штуку... Это нам просто повезло...» Женька закашлялся, сплюнул и, уютно прижавшись щекой к куполу, почувствовал, что засыпает...

— Что с ним?

— Перелом пятого, шестого и седьмого ребер, трещина левой ключицы и очень сильные растяжения правого лучезапястного сустава. Возможно, с частичным разрывом связок...

— Это надолго?

— Месяца на два. Не меньше...

Когда на третий день доктор вошел в палату, он увидел, что Женька лежит неподвижно на спине и держит губами белый целлулоидный мячик от пинг-понга. Затем Женька надул щеки и резко выдул воздух; мячик взлетел вверх почти на метр, и, когда он падал вниз, Женька поймал его ртом.

— Каблуков, чем вы занимаетесь?

Женька попытался ответить, забыв, что у него во рту мячик. Он что-то промычал, затем выплюнул и, отдышавшись, сказал:

— Тьфу, черт! Чуть не подавился! Знаете, доктор, мне говорили, что во Франции есть человек, который ртом жонглирует тремя такими мячиками... Я думал, врут, а теперь мне совершенно ясно, что это возможно! Противно, но возможно...

— Так... — сказал доктор. Он просто не знал, что нужно сказать, и поэтому сказал «так».

— Да, доктор! — встрепенулся вдруг Женька. — Совсем забыл спросить вас, я долго здесь проваляюсь? Только честно!

Доктор очень внимательно посмотрел на Женьку.

— Честно? Я думаю, не больше месяца, — совершенно честно сказал доктор и вышел из палаты.